

三島由紀夫

В 7-м году Сёва¹ Сигэкуни Хонде исполнилось тридцать восемь лет.

Еще учась в Токийском Императорском университете, он успешно сдал квалификационные экзамены на должность судебного чиновника высшего ранга и после окончания учебы был направлен стажером в осакский суд. С тех пор Хонда постоянно жил в Осаке. В 1929 году он получил должность судьи, дослужился до второго помощника председателя суда в Центральном суде Осаки, а через два года был переведен в Апелляционный суд, где стал первым помощником председателя суда.

В двадцать восемь лет Хонда женился на дочери друга своего отца, того самого друга, которому в 1913 году в связи с реформой судебной системы было приказано подать в отставку. Свадебная церемония состоялась в Токио, после нее молодожены сразу уехали в Осаку. Хотя с тех пор прошло уже десять лет, детей у них так и не было, однако жена Хонды — Риэ была женщиной мягкой и покладистой, так что жили они дружно.

Отец умер три года назад. Хонда собирался продать усадьбу в Токио и перевезти мать в Осаку, но мать отказалась и осталась одна поддерживать порядок в большом доме в Токио.

¹ 1932 год. — *Здесь и далее примеч. перев.*

В Осаке Хонда снимал дом, где они жили с женой и нанятой служанкой. Дом имел два этажа: на первом было пять комнат, включая прихожую, и еще две комнаты размещались на втором этаже. Кроме того, при доме имелся приличный сад площадью в двадцать цубо. Плата за дом и сад составляла тридцать две иены в месяц. Три раза в неделю Хонда бывал в суде, а остальное время работал с документами дома. На службу он ездил из своего дома в Тэннодзи Абэно на городском трамвае. Выходил на Китахама, переходил через речки Тосабори и Додзима. Сразу за мостом Хаконагаси находился суд — здание из красного кирпича, над входом в которое красовался внушительных размеров герб в виде хризантемы.

Для судебного чиновника особую ценность представлял фурсики — большой платок, в который чиновники заворачивали те судебные бумаги, что они носили при себе. Когда документов бывало немного, они помещались в портфеле, но в большинстве случаев их накапливалось такое количество, что в портфель они не входили. В фурсики же можно было носить любую пачку бумаг — объемную или не очень. Хонда носил с собой муслиновый фурсики — рекламный презент универмага Даймару, но, опасаясь, что одного фурсики может оказаться недостаточно, Хонда клал в портфель еще один на всякий случай. В этих свертках лежала вся работа чиновников, и каждый знал, что даже в поезде нельзя класть сверток в багажную сетку. Было вполне обычным, когда судейский, отправляясь после работы выпить с сослуживцами, пропускал под узлом на фурсики шнурок и вешал сверток на шею.

Конечно, никому не запрещалось работать с документами в помещении суда. Но даже в те дни, когда

не было судебных заседаний, столов и стульев все равно не хватало, а над ухом то и дело спорили по поводу статей закона. Дискуссии привлекали еще и слушателей из тех, кто собирался сдавать квалификационные экзамены и приходил сюда на занятия. В результате спокойно написать судебное решение в помещении суда не представлялось возможным. Лучше было работать вечерами дома, с перерывом на хороший ужин.

Сигэкуни Хонда специализировался на уголовных делах и довольно спокойно относился к медленному продвижению по службе, связанному с тем, что в Осаке апелляций по уголовным делам было немного.

Работая дома, Хонда засиживался далеко за полночь, читал полицейские протоколы, протоколы предварительного следствия, речи прокурора по делам, назначенным к слушанию на следующем заседании суда, и делал из них выписки. Кроме того, будучи первым помощником председателя суда, Хонда составлял проекты решений, поэтому обычно до заключительной фразы «Таково решение суда» он добирался, когда за окном уже светало. Прочитанный и исправленный председателем черновой вариант Хонда еще должен был кистью переписать набело. От кисти у него на пальце даже появилась мозоль, как у писца.

Шумные застолья с гейшами Хонда посещал только раз в году, когда сослуживцы собирались в каком-нибудь увеселительном заведении, чтобы проводить уходящий год. На этих мероприятиях он сидел молчаливым наблюдателем, хотя начальники и подчиненные пили на равных, и находились даже такие, кто, напившись, приставал с глупыми разговорами к председателю суда.

Как правило, развлечения Хонды были достаточно скромными — обычно он ограничивался тем, что

сидел в кафе при вокзале в Умэда или в дешевом ресторанчике. В некоторых кафе был такой вид услуги: официантку спрашивали, который час, она задирала юбку и смотрела на часы, надетые на бедро. Конечно, среди судейских были люди строгих правил, которые считали, что кафе — это место, где действительно только пьют кофе. Хонда ужасно рассердился, когда в деле о растрате тысячи иен ответчик сообщил, что все эти деньги потратил в кафе: «Ерунда, не может этого быть! Ведь чашка кофе стоит пять сэн. Человек просто не в состоянии выпить такое количество кофе».

Даже после снижения зарплаты месячный оклад Хонды составлял почти триста иен, что в армии соответствовало содержанию командира полка, так что свободные деньги у Хонды оставались. Кто-то тратил эти деньги, охотясь за книгами, другие увлекались классическим театром но. Кто-то собирал поэтические сборники, а кто-то — рисунки. Однако большинство свои свободные деньги просто пропивало.

Судейские ходили на танцы. Хонда этим не увлекался, но часто слышал рассказы сослуживцев, тех, кто любил танцевать. В Осаке местные законы не позволяли открывать танцевальные залы, поэтому любителям приходилось ездить в Киото или в танцзал Куисэ, устроенный посреди рисовых полей Амагасаки. От Осаки на такси это удовольствие обходилось в одну иену, но, когда дождливыми вечерами танцующие пары двигались в освещенных окнах похожего на спортивный зал здания, одиноко стоящего среди полей, звуки фокстрота раздавались там, в потоках ливня, так же естественно, как бой барабанов при посадке или жатве риса.

...Такова была в то время жизнь Хонды.

Тридцать восемь лет — какой это все-таки странный возраст!

В далеком прошлом осталась юность, память не сохранила ничего от времени, прошедшего с тех пор, поэтому Хонде казалось, что он все еще живет годами своей юности. Оттуда постоянно доносились отчетливо различимые звуки. Однако в разделяющей эти две жизни стене не было прохода.

Хонда чувствовал, что его юность кончилась со смертью Киёаки Мацугаэ. Со смертью друга иссякло все, что накопилось, выкристаллизовалось и горело в Хонде ярким огнем.

Теперь ночами, когда Хонда писал черновики судебных постановлений, он, случалось, перечитывал дневник снов Киёаки — прощальный подарок друга.

Многое в дневнике казалось мистическим, лишенным смысла, но среди всего этого был и тот завораживающий, трагически сбывшийся сон о смерти. Не прошло и полутора лет, как сон, в котором Киёаки увидел некрашенный гроб, стоящий посреди комнаты, рассвет, мерцающий в окнах лиловыми бликами, и себя, плывущего в воздухе и смотрящего на свое тело, лежавшее в гробу, претворился в явь; та женщина с распущенными волосами, что рыдала, цепляясь за гроб, конечно, была Сатоко, хотя на похоронах Киёаки реальная Сатоко не появилась.

С тех пор прошло уже восемнадцать лет. В памяти Хонды граница между снами и реальностью стала размытой, и то, что Киёаки когда-то на самом деле существовал, было куда менее ощутимо, нежели виденные и записанные его собственной рукой сны, яркие, словно крупички золотого песка среди пустой породы.

Со временем в воспоминаниях эти сны и реальность приобрели одинаковую ценность. Границы между действительным и воображаемым постепенно стирались. Сны быстро проглотили реальность, и прошлое стало походить на будущее.

В молодости данность воспринимается как единственно существующая, будущее же видится полным перемен, однако с возрастом реальность приобретает многообразие, да и прошлое в воспоминаниях выглядит каждый раз по-иному. Видно, эти перемены во взглядах на прошлое соединились с многообразием действительности, сделали ее туманной, неопределенной. И вот воспоминания о быстротечной жизни уже перестали отличаться от снов.

Хонда мог не помнить имени человека, встреченного накануне, но всегда были свежи воспоминания о Киёаки, прочитанный вечером тот страшный сон из дневника друга казался более ярким, чем привычный угол улицы, мимо которого Хонда проходил сегодня утром. Имена после тридцати лет стали забываться одно за другим, словно облезла краска. По сравнению со снами действительность, которую эти имена представляли, становилась пустой, ненужной, она выпадала из повседневной жизни.

Хонда больше не испытывал разлада с собственной жизнью: ему казалось, что его дело — охватить стройной системой законов все, чему может быть подвержено общество. Хонда целиком принадлежал отвлеченному миру теории и воспринимал только его, а вовсе не сны или реальность.

Конечно, по роду своей деятельности Хонда постоянно сталкивался с людскими страстями. Сам он ни разу не испытал подобного, но видел многочисленные примеры того, как в жизни человека сильное

чувство приобретало магическую, часто роковую силу.

Ощущал ли он на самом деле полную безмятежность? Ему казалось, что когда-то, глубоко в душе, густым серебряным звоном ухнуло и рассыпалось что-то опасное, и с тех пор он огорожен железной стеной, делающей его неуязвимым для любых чар. Этим пережитым в далеком прошлом потрясением был Киёаки. Киёаки обладал этими чарами.

Прежде Хонда любил рассказывать о том периоде своей жизни, что они провели вместе, однако для него, продолжающего жить, воспоминания юности стали не более чем своего рода защитной реакцией. Вот ему уже тридцать восемь. Возраст, когда неосторожно заявлять, что ты жив, — для молодости этот возраст связан с возможной неожиданной смертью. Возраст, когда жизнь приедается, а новых радостей с каждым днем становится все меньше. Возраст, когда от любой малой глупости мгновенно тускнеет очарование.

...Хонда полюбил свою абстрактную работу, странную в том смысле, что увлеченность делом сама по себе предполагала отказ от чувств.

Вернувшись домой, Хонда, перед тем как отправиться в кабинет работать, обычно ужинал вдвоем с женой. Время ужина не было строго определенным: когда он работал дома, ужин подавался в шесть часов, а в дни заседаний суда, когда ему приходилось задерживаться на службе, они, случалось, ужинали и в восемь. Но теперь уже он не поднимал жену среди ночи, как тогда, когда работал в суде по предварительному следствию.

Риэ всегда ждала его, чтобы поужинать вместе, как бы поздно он ни приходил со службы, и, если он

очень задерживался, спешила разогреть приготовленную еду. Хонда в ожидании ужина обычно читал вечернюю газету, прислушиваясь к доносившимся с кухни звукам, где жена со служанкой хлопотали у плиты. В это время — до и после еды — он мог позволить себе полностью отключиться от дел. Нынешняя семья Хонды была меньше, но у него в памяти часто всплывала фигура отца, так же когда-то отдыхавшего за вечерней газетой. В такие моменты Хонда становился очень похожим на него.

Хонде, правда, недоставало присущей отцу нарочитой суровости, вызванной влиянием Мэйдзи — эпохи реформ. Кроме того, у Хонды не было детей, которым он должен был являть пример чести и достоинства, и в доме придерживались более простого и естественного уклада жизни.

Риэ была немногословна, никогда не перечила мужу и не имела привычки совать нос в его дела. У нее было что-то не в порядке с почками: иногда появлялись легкие отеки под глазами, но в таких случаях она подкрашивалась чуть больше обычного, и эта небольшая припухлость, наоборот, придавала ее лицу оттенок сдержанной чувственности.

Воскресным вечером где-то в середине мая у Риэ, после некоторого перерыва, был именно такой вид. Назавтра предстояло судебное заседание, и Хонда вторую половину воскресного дня посвятил работе: он решил, что сможет управиться с делами до ужина, поэтому сказал жене, что сегодня они будут ужинать сразу, как только он закончит работу.

У Хонды не было особых увлечений, но, живя долгое время в Кансае — западной части Японии, славившейся керамикой, он позволил себе маленькую роскошь — собрал для повседневных нужд хорошую

посуду. Они пользовались пиалами в стиле Нинсэй и пили вечером саке из чашечек, созданных Ёхэем — третьим мастером гончарной школы Аватаяки. И Риэ продумала меню, чтобы порадовать мужа, который целый день провел за письменным столом: небольшая форель с легким салатом, а к печеному угрю дольки белых огурцов, посыпанные приправой.

Обычно в это время года уже не разводили огонь в длинной жаровне, и в медном котле не булькала кипящая вода.

— Сегодня вечером можно позволить себе саке. Пожертвовал воскресным днем, но зато закончил работу. — Хонда словно разговаривал сам с собой.

— Вот и хорошо, — отозвалась Риэ, наполняя его чашечку.

В движениях обеих ее рук — и той, что протягивала чашечку, и той, что наливала в нее саке, — был какой-то ритм. Почти игривый естественный закон жизни — руки, словно связанные невидимой нитью, тянулись друг к другу. Так же очевидно, как наполненный ароматом магнолий вечерний сад перед глазами, было и то, что Риэ не из тех женщин, которые способны нарушить эту гармонию.

Вот оно — спокойствие, которое здесь рядом, на расстоянии протянутой руки, до него можно дотронуться... То, что способный юноша обрел через двадцать лет. Когда-то для Хонды было нереальным — коснуться руки, коснуться пальцев, но именно потому, что он никогда не роптал, все пришло ему в руки.

Хонда медленно выпил саке и, подставляя лицо горячему пару, поднимавшемуся от риса с яркими вкраплениями зеленого горошка, уже собрался приступить к ужину, как вдруг услышал звук колокольчика, извещавшего об экстренном выпуске газеты.

Он быстро послал служанку купить газету. В наспех подготовленном экстренном выпуске, края которого были криво обрезаны, а еще не высохший шрифт пачкал руки, сообщалось о попытке военного переворота и говорилось о том, что морскими офицерами застрелен премьер-министр Инукаи.

— Так-так. Судя по событиям последнего времени, это дело рук людей из Лиги кровавого братства, — сказал Хонда.

Избежавший той жизненной рутины, когда человек с хмурым видом сожалеет о прожитом времени, он был уверен, что сам принадлежит к более яркому миру. Состояние легкого опьянения делало этот мир еще ярче.

— Вы опять будете заняты, — сказала Риэ.

Хонду резануло невежество жены, не подобающее дочери судейского чиновника.

— Нет, такие дела в ведении военного трибунала.

Дело по своей природе подлежало другой юрисдикции, оно не могло рассматриваться гражданским судом.

3

Конечно, в кабинете судей несколько дней обсуждали это событие, но в июне все оказались завалены работой, поступавшей каждый день, и перестали интересоваться делом, которое никому и никогда не приходилось и не придется вести. Однако судьи были хорошо осведомлены по поводу действительного положения вещей, которое не нашло отражения в газетных новостях, и усиленно обменивались информацией. Каждому из них была очевидна точка зрения

председателя Апелляционного суда Сугавы — мастера кэндо, сочувствовавшего заговорщикам, но прямо об этом никто речи не заводил.

Прошедшие события подступали из того майского дня, подобно морским волнам. Мелькавшая далеко в море белым треугольничком волна, приблизившись, вдруг вздымалась закрученным гребнем, разбивалась о берег и отступала. Хонда вспомнил тот песчаный пляж в Камакуре, где давно, девятнадцать лет назад, он лежал рядом с Киёаки и принцами из Сиамы, наблюдая за волнами, которые берег притягивал и отпускал, притягивал и отпускал. Однако берег не может сдерживать волны событий. Ему назначено неутомимо возвращать воду в лоно моря, чтобы она не затопила сушу. Снова и снова возвращать волны, наступающие из безграничной бездны, в их исконные владения смерти и скорби.

Что есть зло, что есть преступление — размышлять об этом, собственно, не входило в задачу Хонды, это была прерогатива государства. Хонда бессознательно ощущал, что в преступлении скрывается нечто к нему побудившее, — это пробивалось свежим ароматом лимона, сок которого глубоко въелся в кожу испачканных рук. В этом ощущении сказывалось, скорее всего, влияние Киёаки, и от этого влияния было так трудно избавиться.

И все-таки эти «нездоровые» мысли не были столь радикальными, чтобы бороться за них. Как борцу за идею Хонде не доставало фанатичной преданности теории всеобщей справедливости.

Как-то в начале июня судебное заседание первой половины дня кончилось раньше, и, когда Хонда вернулся в кабинет, до обеда еще оставалось время.

Он открыл гардероб, напоминавший по форме буддийский алтарь из красного дерева, убрал туда черную судейскую мантию, украшенную по плечам пурпурной вышивкой, и черный головной убор с пурпурной лентой. А потом, в задумчивости стоя у окна, закурил.

Моросил мелкий дождик. «Вот я уже и не молод, — подумал Хонда. — Делаю свое дело, не считаясь с мнением других, и при этом получаю удовлетворение оттого, что это в порядке вещей. Я уже поднаторел в работе. В моих руках глина приобретает форму, которую я придаю ей по собственному усмотрению...»

Хонда легонько потряс головой, сопротивляясь стремительному исчезновению из памяти лица подсудимого, в которое он еще несколько минут назад внимательно вглядывался. Однако лицо это все время ускользало.

Следственный отдел занимал южные, выходявшие окнами на реку комнаты на третьем этаже, а рабочий кабинет судей смотрел окнами в тень северной стороны. Взгляд, если смотреть оттуда, упирался в здание следственной тюрьмы.

Следственная тюрьма, огороженная стеной из красного кирпича для того, чтобы доставлять подсудимых на процесс скрытно от посторонних глаз, соединялась со зданием суда переходом.

Хонда обратил внимание на то, что от сырости на окрашенных стенах скопились капли влаги, и открыл окно, чтобы проветрить комнату. Внизу красная кирпичная стена опоясывала белые двухэтажные строения следственной тюрьмы. Между строениями стояла довольно высокая сторожевая вышка, напоминавшая формой силосную башню, на окнах вышки решеток не было.

Черепица на крыше здания и на крышах выступавших домиками дымоходов намочила до черноты и поблескивала, как сажа. За строениями в небо устремилась большая труба, закрывая собой весь вид из того окна, откуда смотрел Хонда.

Окошки, прорубленные в стенах тюрьмы в строгом порядке, были забраны решетками и закрыты ставнями, под каждым окошком на когда-то белой стене, приобретшей от дождевых подтеков цвет грязной рубахи, арабскими цифрами были крупно выведены номера — 30, 31, 32, 33... Порядок этих номеров был непонятен: под камерой второго этажа с номером 32 на первом этаже располагалась камера номер 31. В ряд тянулись вентиляционные отверстия, похожие на продолговатые листочки бумаги для написания танка, а на уровне пола первого этажа находились канализационные стоки.

Хонда поймал себя на том, что думает об обвиняемом, только что проходившем по суду: в какой же камере он сидит? Судьи не могли этого знать. Обвиняемым был бедный крестьянин из префектуры Коти. Он продал дочь в публичный дом в Осаке и, не получив даже половины обещанных денег, отправился туда выяснять отношения, был обруган хозяйкой и в ярости, не рассчитав силы, избил ее до смерти. Одако Хонда никак не мог вспомнить каменное, ничего не выражающее лицо этого человека.

Дым от папиросы, которую курил Хонда, просачивался сквозь пальцы и медленно расплывался в завесе дождя. В том мире за оградой эта папироса была огромной ценностью. Хонда вдруг ощутил какую-то дикую несообразность в контрасте ценностей этих двух, разделенных законом миров. В том мире вкус папиросы воспринимался как вершина наслаждения,

а здесь папироса была всего лишь средством убить время.

Во дворе напротив веером располагались прогулочные площадки для заключенных. Хонде случилось видеть из окна фигуры в синей тюремной одежде с наголо обритыми головами. Заключенные, разделенные по двадцать человек, делали зарядку или совершали прогулку, двигаясь по кругу в этих разгороженных секторах, однако сегодня, наверное из-за дождя, площадки напоминали курятник, где все обитатели вымерли.

В этот момент промозглую тишину разорвал резкий звук, словно кто-то с силой хлопнул ставней.

И звук снова поглотила тишина. На брови Хонде упали мелкие капли дождя, занесенные ветром, он потянулся закрыть окно, и тут вошел его сослуживец Мураками — кончилось и другое заседание.

— Я сейчас слышал, как привели в исполнение смертный приговор, — пояснил Хонда.

— Я тоже недавно слышал. Надо сказать, ощущение не из приятных. Это была плохая идея — расположить место казни так близко к ограде, — отозвался Мураками, убирая мантию. — Ну что, пойдём обедать.

— Что будешь сегодня есть?

— Как всегда, бэнто, — ответил сослуживец.

Они прошли по темному коридору в столовую для руководящего персонала, расположенную на том же этаже. Раз и навсегда определенная еда, поглощаемая за разговорами о судебных делах. Новая стеклянная дверь в извилистых цветочных узорах, на которой висела табличка с крупной надписью «Столовая руководящего персонала», сверкала, пропуская горящий внутри свет.

В помещении стояли десять больших столов, на них были приготовлены чайники и пиалы. Хонда обвел взглядом столовую: нет ли среди присутствующих председателя суда. Тот часто приходил обедать в столовую специально, чтобы поговорить с сотрудниками. В таких случаях сведущая служанка поспешно приносила председателю особый маленький чайничек. В него вместо чая наливалось саке.

Сегодня председателя не было.

Хонда сел за стол напротив Мураками и снял ту часть коробки с едой, где лежали маринованные овощи и рыба, как всегда недовольный тем, что к запотевшему, с облезающим красным лаком низу коробки прилипли зернышки риса, аккуратно собрал их пальцами и отправил в рот. Мураками, с улыбкой наблюдая эти привычные движения, заметил:

— Тебя в детстве, наверное, заставляли каждое утро подносить несколько рисинок статуэтке крестьянина, сидящего со скрещенными ногами, на которых лежала большая соломенная шляпа. Меня тоже. Если хоть одна рисинка падала на татами, надо было подобрать ее и съесть.

— Самурая всегда можно было упрекнуть в том, что он не работает, а ест. Сейчас что-то еще осталось от этого воспитания. А ты как воспитываешь детей?

— Берите пример с отца! — бодро, не моргнув глазом, отозвался Мураками.

Мураками как-то решил, что его лицу недостает солидности, и отпустил усики, но, преследуемый насмешками товарищей и сослуживцев, отказался от этой затеи. Он много читал и часто заводил разговоры о литературе.

— Оскар Уайльд считает, что в нынешнем мире нет преступлений как таковых — люди просто вынуж-

дены их совершать. Посмотреть на недавние дела, так таких полно, выходит, нам, судьям, тут нечего делать, — заговорил Мураками.

— Да. Дел, где преступление можно считать естественным продолжением или результатом нерешенных социальных проблем, полно. Это почти всегда касается необразованных людей, — сдержанно отозвался Хонда.

— Говорят, в сельской местности Тохоку бедность ужасная.

— К счастью, в нашем районе ситуация несколько лучше.

С 1913 года под юрисдикцией Апелляционного суда Осаки находилось девять префектур — Осака, Киото, Хёго, Нара, Сига, Вакаяма, Кагава, Токусима, Коти — все в основном богатые.

Затем Хонда с Мураками заговорили о проблемах, связанных с множившимися преступлениями, которые совершались по идейным соображениям, и о позиции, занимаемой в этом вопросе прокуратурой. Все это время у Хонды в ушах стоял звук, с каким свершилась смертная казнь, — свежий, резкий, вызывающий удовлетворение ценителя. Несмотря на это, ел Хонда с аппетитом. Звук не бил по чувствам, Хонде просто казалось, что в сердце ему вонзился тонкий кристаллик.

Вошел председатель суда Сугава, и все повернулись к нему. Служанка поспешила за чайничком. Председатель сел рядом с Хондой и Мураками.

Этот краснолицый массивный кэндоист был мастером Хокусинъитто — одного из направлений в кэндо — и консультировал общества воинской доблести. Давая инструкции, он каждый раз цитировал что-то

из «Пяти колец», поэтому за глаза его звали «Право пяти колец». Но если судить по тому, какие решения он принимал в суде, Сугава был добрым человеком. Председатель с удовольствием посещал всевозможные соревнования по кэндо, и его обычно просили выступить с речью, в результате завязывались связи с храмами, и Сугаву стали приглашать в качестве почетного гостя на праздники, посвященные воинской доблести.

— Ну и попал я в положение, — сразу начал председатель. — Сначала принял приглашение, а теперь, оказалось, никак не могу приехать.

Хонда решил, что это как-то связано с кэндо, и не ошибся.

16 июня в храме Оомива, который находится в Сакураи префектуры Нара, должен состояться турнир кэндо, посвященный богам этого храма: прибудут паломники со всей страны, соберутся лучшие спортсмены университетов Токио. Председателя просили выступить с речью, но в тот же день он должен быть на совещании в столице и никак не сможет присутствовать. Само собой, на судей нельзя взваливать административные обязанности, он также не вправе настаивать, чтобы его заменили на празднике, но, может, им будет интересно... То была робко выраженная просьба, и Хонда с Мураками стали листать записные книжки: у Мураками на данный день было назначено судебное заседание — он отпадал. А Хонда как раз мог работать с документами дома, к тому же судебное дело намечалось несложное.

Председатель с радостным видом сказал:

— Вот спасибо. И я никого не подведу, и в храме будут полностью удовлетворены, хотя бы потому, что имя твоего отца хорошо известно. Отправим тебя на

два дня в командировку: вечером в день соревнований остановишься в гостинице в Наре, там очень тихо, поработаешь, а на следующий день побываешь на празднике цветов в храме Идзагава, который относится к храму Оомива, что в самой Наре. Я как-то присутствовал на этом торжестве — это самый красивый из всех старинных праздников. Ну как? Если у тебя есть желание, я сегодня же напишу письмо. Да нет, обязательно надо посмотреть. Это того стоит.

Последний раз Хонда был на состязаниях по кэндо лет двадцать тому назад еще в школе Гакусюин. Тогда, давно, они с Киёаки презирали компанию кэндоистов и их фанатичные выкрики, слышные во время тренировок. Впечатлительным подросткам казалось, что в этих выкриках выплескивается удушающее, выворачивающее нутро, бьющее в нос звериным запахом безумие, — безумие, которого не стыдятся, которым гордятся, как священным помешательством. Слышать подобное было мукой. Причины отвращения, которое питали к этим звукам Хонда и Киёаки, были разными: Киёаки воспринимал их как презрение к тонким чувствам, а Хонда — как презрение к разуму...

Однако все это было в прошлом. Хонда научился внешне не реагировать на то, что он видит или слышит.

В такой день, как сегодня, когда до послеобеденного заседания еще оставалось свободное время, в хорошую погоду удовольствием было бы прогуляться по берегу Додзимы, посмотреть, как белая пена, оставляемая суденышками, лижет деревянную набережную, но, к сожалению, шел дождь. В кабинете сослуживцы шуршали бумагами, покоя тоже не было.

Хонда, расставшись с Мураками, некоторое время постоял в вестибюле. Бледный свет пробивался через стеклянные двери с изображенными на них в зеленых и белых тонах оливами, пересекал коридор и слабо отражался в колоннах пестрого гранита. Вдруг, поддавшись какому-то чувству, Хонда отправился в бухгалтерию за ключами.

Он собирался подняться в башню.

Высокая башня из красного кирпича на здании суда являлась одной из достопримечательностей Осаки, ее отражение в реке красиво смотрелось с противоположного берега. Некоторые сравнивали башню с лондонским Тауэром, где, если верить слухам, на верхней площадке установлена виселица, и там приводят в исполнение смертные приговоры.

В осакском суде не знали, как использовать идею английских проектировщиков, и в запертой на ключ башне не было ничего, кроме пыли. Время от времени судейские поднимались наверх, чтобы отвлечься и насладиться широкой панорамой: в погожие дни отсюда был виден даже район Авадзи.

Хонда отпер дверь, шагнул внутрь — и оказался в белом безграничном пространстве. Башня опиралась на потолок вестибюля, внутри — от основания до самой вершины была абсолютная пустота. Белые, покрытые пылью стены в подтеках воды, окошки с четырех сторон были только в самом верху, вдоль них с внутренней стороны тянулся узкий балкончик, к нему, извиваясь виноградной лозой по стене, вела железная лестница.

Хонда держался за перила и знал, что испачкает руки пылью. В дождливый день свет, падающий из верхних окошек, создавал в огромном внутреннем пространстве ощущение предрассветных сумерек. Эти

необъятные по размерам пустые стены, эта нелепая лестница — каждый раз у Хонды возникало ощущение, что он попал в какой-то странный мир, умышленно растянутый до неестественных размеров. Казалось, что в центре этого пространства должна стоять невидимая гигантская фигура. Невидимая огромная статуя с выражением гнева на лице.

В противном случае это пространство было бы слишком пусто, слишком бессмысленно. И окна, достаточно большие вблизи, отсюда выглядели спичечными коробками.

Хонда шаг за шагом поднимался по железной лестнице, сквозь просветы видно было пространство внизу. Каждый шаг отдавался в башне гулким эхом. Хотя надежность конструкции не вызывала сомнений, каждый шаг сотрясал лестницу сверху донизу, казалось, по спине стремительно пробегает дрожь. Пыль медленно оседала на постепенно удаляющийся пол.

Вид, открывавшийся из окон на вершине башни, не был для Хонды нове. Хотя дождь затруднял обзор, хорошо просматривалось место, где река Додзима плавно поворачивала к югу и сливалась с Тосабори. На противоположном берегу будто присели на корточки дом собраний, центральная библиотека и здание Японского банка, которое венчал медный купол; плоскими смотрелись сверху здания на острове Накано, а на западе в тени возвышающихся строений просматривался стилизованный под готику фасад клиники. Красные кирпичные стены левого и правого крыльев судебного здания потемнели от дождя, и зелень газона во внутреннем двореке напоминала зелень сукна непонятно как оказавшегося здесь бильярдного стола.

С большой высоты людей было не разглядеть. Только стоящие стеной здания, в которых уже днем зажгли свет, покорно мокли под дождем. В природе не было ничего необычного, и это немного утешало.

Хонда подумал:

«Вот я на вершине. На такой, что темнеет в глазах. Не на той вершине, что достигается властью или деньгами, а на той, что, можно сказать, представляет государственный разум, — на вершине логической конструкции».

Находясь здесь, на высоте птичьего полета, он более остро, чем тогда, когда стоял за кафедрой красного дерева, ощущал, что судебное дело стало его жизнью. Отсюда все земные обстоятельства, события прошлого представляли на мокрой от дождя схеме. Если в разуме есть что-то детское, то самое подходящее развлечение для разума — это смотреть на мир с высоты птичьего полета.

Внизу происходили разные события. Застрелили министра финансов, убит премьер-министр, проходят многочисленные аресты революционно настроенных учителей, возникают беспочвенные слухи, углубляется кризис в деревне, политика правящей партии накануне провала... И Хонда здесь, где вершится справедливость.

Конечно, Хонда всячески иронизировал по своему поводу. Вот он, будучи на страже справедливости, выбирает пинцетом разные низменные страсти, завернув в теплый сверток разума, несет домой, и они ложатся в строчки судебных решений... Он встает в тупик перед различными тайнами и каждый день целиком отдается работе: скрепляет кирпичи, из которых возводится здание правосудия.